

18+

Марк Аксенов

**Семейная
хроника
«Царя
Гороха»**

Часть 1. Предки

Марк Аксенов

**Семейная хроника «Царя
Гороха». Часть 1. Предки**

«Издательские решения»

Аксенов М.

Семейная хроника «Царя Гороха». Часть 1. Предки /
М. Аксенов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-531907-4

Новая книга Марка Аксенова — это не столько родословная семьи, сколько размышления автора о том, как история страны отражается в судьбах простых людей. Несмотря на то, что в книге использован автобиографический материал, её нельзя отнести к мемуарному жанру. Некоторые события и имена персонажей являются вымышленными.

ISBN 978-5-00-531907-4

© Аксенов М.
© Издательские решения

Содержание

Вступление	6
История с именем	6
Как я стал «царём»	7
Родина предков	8
Глава первая. Дед Иван	9
Происхождение фамилии	10
Детские годы Ивана	11
Красноармеец Иван Горохов	13
Между войнами	18
Вторая война Ивана Горохова – Великая Отечественная	20
После войны	22
Прогноз погоды	24
Мужское воспитание	25
Последнее дело	27
Глава вторая. Дедова родня	29
Александра-монашка	30
Тётя Таня и Танечка	31
Молодые годы Ирины Красиной	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Семейная хроника «Царя Гороха» Часть 1. Предки

Марк Аксенов

Моей любимой дочке Кате

© Марк Аксенов, 2021

ISBN 978-5-0053-1907-4 (т. 1)

ISBN 978-5-0053-1908-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вступление

История с именем

Я родился вскоре после окончания Великой Отечественной. Время было трудное, полу-голодное. Только что отменили карточную систему на продукты питания. И, тем не менее, молодые семьи, ютившиеся в крохотных комнатухах перенаселённых коммуналок в бараках и подвалах, активно обзаводились детьми, нисколько не задумываясь о возможных проблемах с яслями и детским садом для ребёнка, и о карьерном росте для себя. Проблема была скорее в выборе для меня подходящего имени, что случается сплошь и рядом, когда муж и жена имеют разную национальную принадлежность. Отец очень хотел назвать меня Самуилом в честь любимого дяди Мули. Мама была категорически против. Ей очень нравилось имя Максим. Этот спор длился бы очень долго, если бы в него не вмешался мамин отец, мой дед, предложивший назвать меня Матвеем. И это оказалось идеальным компромиссом. Ибо имя «Матвей», являясь, также, как и имя «Иван», древнееврейским по происхождению, было широко распространено и в русской среде. Не скажу, что мне оно особенно нравится, но в любом случае я по сей день благодарен деду, спасшему меня от «Мули». К тому же, отец вскоре после моего рождения навсегда покинул нашу семью, унеся с собой в неизвестном направлении благодарную память о неведомом дядюшке Самуиле.

Как я стал «царём»

Когда мне исполнилось двенадцать лет, – а было это в самом начале шестидесятых, – в жизни нашей семьи произошло два серьёзных события. Во-первых, внезапно заболела мама. Заболела тяжело с приступами удушья, с отеками легкого. Второе событие было напротив радостным – наконец-то женился мамин брат, долго ходивший в холостяках. Оба эти факта, как бы, с двойной подстраховкой обусловили наш с мамой переезд на Юго-Запад Москвы поближе к дедушке с бабушкой. А в нашу комнатушку на третьем этаже серой измайловской пятиэтажки переселился мой дядька с молодой женой. Этот переезд однозначно положительно повлиял и на мамино здоровье, и на моё поведение, которое под влиянием хулиганского окружения, царившего в те времена в Измайлове, заметно ухудшилось. Какое-то время до конца учебного года я еще продолжал ездить в школу на Сиреневом бульваре, дорога до которой с тремя пересадками занимала полтора часа. А осенью я уже стал учеником шестого Б в своей новой школе. По началу мне показалось, что новые мои товарищи мало чем отличаются от измайловской шпаны. На первой же перемене ко мне подошли двое ребят. Самый высокий из них хлопнул меня по плечу:

– Привет Горох!

– Я не Горох, а Горохов, – попробовал я было возразить, на что он миролюбиво заметил:

– Да ты не обижайся! У нас у всех кликухи такие. Меня вот Толик зовут, а фамилия Бубнов. Но можешь звать меня просто Бубен или Толян. А Лёшку Гусева можешь Гусём звать. Он не обидится. Правда, Лёха?

Так за мной закрепилось прозвище Горох, что для меня вовсе не было обидно, ибо «горохами» называли себя многие наши родственники. Однажды учитель литературы начал какой-то свой рассказ словами:

– А было это давно, как принято говорить, ещё при Царе Горохе!

При этих словах все захихикали и стали показывать пальцами на меня:

– Это при нём было! Царь-Горох, это же при тебе было? Сознавайся!

Так моё прозвище пополнилось ещё и монаршим титулом.

Родина предков

Во время путешествий по Италии мне несколько раз приходилось проезжать один из красивейших её регионов – Тоскану. За окном автобуса мелькают симпатичные городки и селения, окруженные полями, садами и виноградниками. А за ними на зеленых холмах порой возникают сказочные очертания замков. Но вот вдруг, то тут, то там замечаешь дома и хозяйственные постройки с чёрными провалами окон, а иногда целые хутора и деревеньки, видимо брошенные жителями. «Что поделать, – говорит наш гид, – люди перебираются жить в города, туда, где есть работа...» Уж не знаю, тоскуют ли жители Тосканы по этому поводу. Может, и тоскуют. Но только Италия при всём при этом – крупнейший в Европе производитель овощей, фруктов и прочей сельхозпродукции. Да ведь и Россия в последнее время в этом вопросе не отстает, а в чём-то даже и обгоняет не только Италию, но и другие страны. Почему же нам так грустно, когда мы видим наши обезлюдившие сёла и заброшенные дома? Наверное, просто потому что они наши. Кто-то в них родился и жил в юные годы, у кого-то здесь жили родители...

Деревеньки, затерянные среди владимирских лесов и болот, где появились на свет и провели свою молодость мои предки по материнской линии, ещё живы, хотя давно уже не так многолюдны, как в прошлом. Земля в этих местах никогда не была плодородной и не могла прокормить живущих на ней крестьян. Поэтому многие жители здешних деревень и сёл занимались разными ремёслами, основным из которых было плотницкое дело. Издавна владимирские мужики целыми плотницкими бригадами, или, как тогда говорили, артелями уходили на заработки в Москву, Петербург, Ростов на Дону и даже в Одессу. Этот промысел назывался «отхожим», а те, кто им занимался, называли себя «отходными». Больше всего плотников было в Аргуновской волости, центром которой было село Аргуново, стоявшее на берегу реки Киржач. По имени этого села сначала только местных, а затем и всех владимирских плотников стали называть «аргунами». Краеведы рассказывают, что вокруг Аргунова сложилась даже некая «аргуновская цивилизация» с самобытным укладом жизни, с удивительной техникой «глухой» аргуновской резьбы по дереву, образцы которой мне довелось увидеть в городке Киржач. Самого села Аргунова давно уже нет, как нет в помине и «аргунов», одним из которых был мой дед Иван Иванович Горохов.

Глава первая. Дед Иван

По молодости лет мне и в голову не приходило специально расспрашивать деда о его семье, родителях, братьях и сёстрах. В отличие от детей прошлых поколений, мы были уже избалованы разными источниками исторической информации, – радио, телевидение, кино, – более интересными, чем скупые, сбивчивые рассказы наших немногословных предков. Но кое-что из этих редких рассказов всё же просачивалось в моё детское сознание и закреплялось в памяти.

Происхождение фамилии

Однажды, я поинтересовался, почему дед носит фамилию Горохов. На это дед с улыбкой сообщил, что у его дедушки было прозвище «Горох». И связано это было вовсе не с гастрономическими пристрастиями и не с огородничеством, а, как ни странно, с плотницким ремеслом. Дело в том, что во времена его деда все ещё пользовались древнерусскими мерами длины. И, если с большими мерами, вроде аршина или сажени, было всё ясно, то с малыми были проблемы. Вершок – четыре с половиной сантиметра, перст – два сантиметра. А меньше? «Полперста» или тем более «четверть перста» ещё и не выговоришь. А о сантиметрах и миллиметрах никто не знал. Поэтому мой прапрадед говорил напарнику: «Передвинь бревно (или там, отрежь доску) на горошину», то есть, примерно, на один сантиметр. Так и прозвали его «Горохом». А дети его стали Гороховы. В быту же дедовы родичи часто называли себя просто «горохами».

Это было, пожалуй, всё то небольшое, что дед знал из истории своих предков. На мои дальнейшие расспросы он сокрушенно качал головой и вспоминал, что отец его, Иван, будучи человеком грамотным, вёл дневник в большой амбарной книге, где записывал по мере возможности сделанное за день – откуда и сколько тёса вывезено для строительства нового сарая, сколько аршин ситца куплено на ярмарке и прочие мелочи жизни, такие обычные для того времени, и такие интересные для современного читателя. Особенно, если этот читатель – прямой потомок того, кто писал дневник. К великому сожалению деда, после смерти его отца амбарная книга за «ненужностью» была пущена женщинами на растопку. Так что, за отсутствием письменных источников мне не остаётся ничего другого, как только полагаться на какие-то отрывочные воспоминания и рассказы родственников.

Однажды, например, будучи в гостях, я разговорился с дальней родственницей деда. Сейчас даже не вспомню, как её звали. Помню только, что упоминания о каких-то неведомых мне Дурышкиных изредка мелькали в разговорах моих стариков. Весь образ этой пожилой женщины, – а назвать её старушкой язык не поворачивался, – являл собой полную противоположность этой не слишком благозвучной фамилии. В её голубых глазах за стёклами очков читались ум и доброта. И вся она, хрупкая, маленькая, с высокой шапкой седых, аккуратно уложенных волос в скромном бордовом костюмчике, казалось, излучала какой-то невидимый добрый свет. Оказалось, что она хорошо знала всю нашу семью и даже не раз встречалась со мной. Правда, было это, видимо, в те годы моего детства, когда я мог отчетливо различать и запоминать среди многочисленных наших гостей только военных с блестящими медалями и погонами, или музыкантов, которых я совершенно искренне считал волшебниками. Так вот эта милая женщина сильно пополнила мои знания о многочисленных родственниках деда о сложном переплетении родственных связей, которые, впрочем, вряд ли заинтересуют читателя. Главное, что я от неё узнал, так это имя своего прапрадеда, того самого, что получил прозвище «Горох». Звали его Еремей. И именно его я должен считать самым давним корнем родословного дерева Гороховых. Ибо никаких сведений о его предках, мне узнать не удалось. И ещё, что мне удалось узнать из того давнего разговора, – это звучное имя или прозвище моей прабабки – «Аксинья из Заболотья». Именно её, уроженку соседней деревни Заболотье, взял себе в жены один из сыновей Еремея – Иван. И вот они-то – Иван и Аксинья – стали родителями моего дедушки, а также двух его братьев и трёх сестёр. Вот, собственно, и всё родословное древо предков деда Ивана. Многие корни, ветки и листья на нём отсутствуют, и потому оно выглядит корявым и поломанным, будто над ним буря пронеслась. Что поделаешь! Отчасти оно так и есть, если вспомнить историю России двух последних столетий.

Что же касается биографии самого деда и его собственной семьи, то тут я осведомлён немного больше.

Детские годы Ивана

Малой родиной Ивана была небольшая деревенька Орехово Владимирской губернии. Я долго пытался найти это название на современных картах. Но все мои усилия были тщетными. На старых, дореволюционных картах деревня была, и величали её по-разному – то Орехово, то Орехи. А на современных она попросту пропала. И я долгое время думал, что деревня эта, подобно многим селениям в средней полосе России, обезлюдела и растворилась в бурьяне и чертополохе. И вот лет пять назад я с друзьями решил посетить родные места моих предков. Целью поездки была родная деревня моей бабушки – Дубнино, которая, в отличие от Орехова, присутствует на всех картах. Свернув с шоссе, соединяющего Киржач и Покров, в большое село Трегубово, мы остановились, чтобы уточнить дальнейшее направление движения и постучали в первую приоткрытую калитку.

Из дома вышла приветливая пожилая женщина с маленьким внуком, вцепившимся в подол её халата, и в ответ на наши расспросы подробно рассказала нам, как лучше проехать в Дубнино, заранее предупредив, что лучше бы нам успеть до дождя. Потому как, если разведет, то по лесной дороге и на тракторе не добраться. Поблагодарив, мы уже стали закрывать за собой калитку, как вдруг что-то остановило меня. «Чем черт не шутит? Дай-ка, спрошу?»

– А не подскажете, есть ли тут поблизости такая деревня – Орехово?

– Есть, конечно, куда ж ей деться? – ответила женщина, удивленно округлив глаза.

– То есть, как? – у меня аж дыхание перехватило, – Где же она?!

– Как это где? Да вот тут она и есть! Мы же с вами – в Орехове!

– ????

– Просто в семидесятые годы у нас уже мало дворов осталось, а Трегубово наоборот – разрослось, и нас к нему присоединили. Но мы-то местные знаем, что вот эти улицы и вон те, что пониже – это Орехово.

Надо ли вам говорить, какие эмоции захлестнули меня? Я чувствовал себя Колумбом! Да что там Колумб! Я же нашел столь дорогой для меня маленький осколок «Атлантиды», затонувшей в холодных водах людского забвения, кусочек той самой «Аргуновской цивилизации». Ведь деревенька Орехово входила когда-то в Аргуновскую волость.

В семье Ивана Еремеевича и Аксиньи Ивановны (дедовых родителей) все мужики, разумеется, становились плотниками, столярами или краснодеревщиками. Дед уже с десяти лет начал обучаться мастерству у отца и старших братьев, и даже ездил с ними в Москву и другие города, если это не мешало учёбе. Об этом он рассказывал мне сам. А что касается его учёбы, то вот передо мной документ, напоминающий афишу размером больше, чем два листа писчей бумаги. Внизу по углам портреты Гоголя и Пушкина, а наверху посередине три овальные рамочки, содержимое которых аккуратно кем-то вырезано. Рискну предположить, что в средней рамке был двуглавый орёл, а с двух сторон от него были портреты царя Николая II и царицы Александры Фёдоровны. В этом документе со старорежимными «ятями», который называется «Свидетельством», написано следующее: «Покровский Уездный Училищный Совет сим удостоверяет, что *Горохов Иван Иванов сын крестьянин дер. Орехи Овчининской волости Покровского уезда Владимирской губернии, рожд. в нояб. 1901 г. отлично окончил курс учения в Трегубовском народном училище.*

Выдано апреля 28 дня 1915 года»

Далее идут подписи Председателя Совета, Инспектора народных училищ и членов Совета. Рядом с Пушкиным – печать Покровского училищного Совета, сильно побледневшая и, я подозреваю, не столько от времени, сколько потому, что в середине её простирал когда-то свои крылья всё тот же двуглавый орёл. Сейчас можно над этим смеяться, но в то время, видимо, спокойнее и «логичнее» было сказать, что ты в Советскую Россию с неба свалился,

чем признаться, что жил при царе и имел какие-то документы с царскими гербами и портретами. Народные училища были двухклассные и четырёхклассные. Дед закончил четыре класса. В 1915 году уже шла война, а через два года одна за другой грянули две революции. Но события большой политики обходили Ивана стороной, пока не наступил год 1920.

Красноармеец Иван Горохов

Согласно сохранившемуся Военному билету, мой дед был призван на действительную службу в начале марта тысяча девятьсот двадцатого года. В числе прочих новобранцев Иван Горохов, которому в то время было 18 лет, проходил воинскую подготовку в Москве на Ходынском поле. Дед смеялся, рассказывая, как для соблюдения единообразия формы им всем за отсутствием сапог выдали лапти. Дело в том, что дед в лаптях практически никогда не ходил. Хоть он родился и жил в деревне, но работал, как и все плотники во Владимирской области, «в отходе» или, как я уже говорил, занимался «отхожим промыслом». «Отходные» считали себя почти городскими и ходили исключительно в ботинках. На Ходынке пришлось «перечуваться» на лапти и онучи. Готовили новобранцев якобы к отправке на Кавказ. Обман раскрылся уже по пути на фронт. Новобранцы, те, что были родом из Смоленской области, вдруг увидели родные места. Их небольших знаний географии было достаточно, чтобы понять, что везут их не на юг, а на запад. Кое-кто из них выпрыгнул из вагонов и подался домой. Остальные оказались на территории Западной Белоруссии, где в то время стремительно развивались события советско-польской войны.

Причина конфликта состояла в том, что после поражения Германии в Первой мировой Советское руководство отменило Брестский мир и Красной Армии был дан приказ занять отданные немцам по условиям этого позорного мира западные области России, включая западные части Белоруссии, Украины и Прибалтики. Однако, Польша также претендовала на эти земли. Красная Армия противостояла польским войскам на двух фронтах – на Западном под руководством Тухачевского и Юго-Западном под руководством Егорова. Здесь основной силой была Первая конная армия Буденного. После успешных действий будёновцев на Украине в атаку перешли и войска Тухачевского. Поляки отступали в панике, впрочем, не забывая при этом взрывать за собой мосты и железнодорожные пути. В результате, передовые дивизии Тухачевского, почти подойдя в августе 1920 года к Варшаве, оказались так сильно оторваны от своих тылов, что положение их сделалось не менее рискованным, чем положение поляков, защищавших Варшаву. Тухачевский, правда, ожидал, что, согласно общему плану компании, его фланги поддержит с юга Первая конная. Однако товарищи Ворошилов и Буденный, всячески поддерживаемые товарищем Сталиным, не торопились это делать. «С какой стати? Чтобы этот барчук Тухачевский, триумфально вошел в Варшаву? А они – где-то сбоку? Нет уж, кукиш вам с маслом! Чай, мы сами с усами!» Не ручаюсь за точность выражений – думаю, что у бывшего рабочего Ворошилова и бывшего драгуна царской армии Буденного были аргументы «покрепше» моих – но мотив их поведения, по свидетельствам историков был именно таким. И вот вместо того, чтобы помогать Тухачевскому взять Варшаву, они решили сами чего-нибудь «взять». Рядом был богатый польский город Львов, который показался им легкой добычей. Однако, сколько они ни старались, взять Львов не удавалось. Главком Каменев – тоже, кстати, из «бывших» – кипел от негодования, слал из Москвы грозные приказы! В конце концов переподчинил все войска Юго-Западного фронта непосредственно Тухачевскому, который тоже приказывал поддержать наступление на Варшаву. Бесполезно! Очень уж хотелось самим взять Львов. А помогать, и, тем более, подчиняться Тухачевскому совсем не хотелось.

Тем временем прибывшие на помощь Пилсудскому английские и французские генералы быстро сообразили, что к чему, и организовали энергичные удары с южного направления по рыхлым, растянутым флангам и тылам Красной армии. Из Франции подтянулись сформированные там из пленных поляков соединения в количестве 70 тысяч штыков. И, когда, наконец, Первая конная, так и не взяв Львов, ринулась на помощь Тухачевскому, ее встретили уже хорошо вооруженные, свежие силы противника. Которого, кстати, поддерживали даже прибывшие из Америки бомбардировщики.

Что же касается нашего вооружения, то по рассказам деда поначалу, когда их привезли на фронт, одна винтовка была, хорошо если на троих, а то и на пятерых. В свете этого как-то двусмысленно смотрится плакат Окна РОСТА того времени, а, вернее сказать, стих Маяковского, помещенный на нём.

«Крепнет коммуна под пуль роем.

Товарищи, под винтовкой силы утроим»

То бишь, всё, как в жизни – «винтовка» в единственном числе, а «товарищей», которые и так уже во множественном, предлагается ещё и утроить.

Из дедовской Книжки красноармейца и исторических документов мне удалось узнать, что 57-я стрелковая дивизия, в которой служил красноармеец Горохов входила в состав 16-й армии Западного фронта. Во время Варшавской операции в начале августа двадцатого года 16-я армия форсировала Западный Буг и продвинулась к Висле, выйдя на подступы к Варшаве. Когда же в середине августа началось контрнаступление польской армии, части 16-й армии вынуждены были отступить с тяжелыми арьегардными боями.

Видимо, об этом периоде дед вспоминал, как о времени разброда и неразберихи, когда части Красной армии отступали и «по лесам бегали и прятались от начальства дезертиры». И вот однажды, во время ночного привала в каком-то селе около тысячи измотанных, плохо вооруженных, и дезорганизованных красноармейцев, и в их числе мой дед, были взяты в плен эскадронам польских кавалеристов, многие из которых были вооружены «ручными пулеметами». Так дед называл еще диковинное в те времена оружие. Он говорил, что это были не «шмайсеры» или ППШ, которые появились позже, во время Второй мировой, а какие-то небольшие автоматы с деревянными прикладами и рукоятками. Скорее всего, на вооружении у поляков оказался, «маузер», деревянная кобура которого могла использоваться в качестве приклада. Обычные «маузеры» стреляли одиночными выстрелами, но была модификация, позволявшая стрелять и очередями.

Польский плен

В декабре 1968 года я готовился к поездке в Польскую Народную Республику, – так в то время называлась Польша, – в составе студенческой делегации нашего института. Современным молодым людям, которые к двадцати годам уже успевают посмотреть полмира, трудно понять мои ощущения и надежды, связанные с предстоящей поездкой, которая должна была стать для меня первым знакомством с заграницей. И я загодя стал изучать польский язык и исподволь знакомиться с польской историей и культурой. Кстати, затем это вошло у меня в привычку. В какую бы страну я не собирался, я обязательно хотя бы немного учил её язык.

Но вернемся в декабрь 1968-го. Увидев у меня на столе польский словарь, дед саркастически, как он умел, ухмыльнулся и спросил

– К полякам собрался?

– Да, а что? Ты тоже туда ездил?

– Да уж, пришлось...

И вот тогда дед рассказал, как он оказался в Польше. Поскольку дед застал меня за изучением языка, я спросил, помнит ли он что-нибудь по-польски. И он, не задумываясь, произнес наиболее запавшее в память. Это не было какое-нибудь «Проше пана» (Прошу вас) или «Пшепрашам» (Извините). Нет! Первое что дед выпалил без запинки, было «Пщякрев!» (Psiakrew!). Перевод я легко отыскал в словаре – это польское ругательство, вполне безобидное в сравнении с русским матом, переводится, как «Собачья кровь». Именно так «ласково» обращались к русским военнопленным охранники в польском концлагере, куда дед попал. А вот вторая фраза заставила меня провести целое лингвистическое исследование.

«Двадешти пенти в дуб». Дед объяснил, что это означало «двадцать пять ударов розгами». Такое наказание полагалось пленным за крупную провинность. В особенности

за попытку побега, коих у деда было три. Но рядом с лагерем не было лесов, и единственным местом, где можно было временно укрыться от взгляда часовых, были поля подсолнуха. Туда и бежали. Но это не помогало. Охранники с собаками настигали беглецов, и, схватив за волосы, волокли обратно в лагерь. Дед в юности был рыжим чубатым парнем. Из польского плена он вернулся практически лысым. Ну а после побега он, естественно, получал свои законные «Двадешти пенти в дуб».

Ну двадцать пять – это понятно. Правильно по-польски это звучит приблизительно так – Двадещчи пенчи (Dwadzięści pięci). А вот причем тут дуб, дед объяснить не смог, а может быть, не захотел. Словарь мне ничем не помог. А помог русско-польский анекдот, который рассказал мне однокурник, тоже собиравшийся в ПНР.

Советско-польская граница. Зима, ночь, мороз. Постовым, – что нашему, что поляку, – стоять холодно и скучно. И вот через границу налаживается «культурный» диалог.

Наш пограничник протяжно и громко кричит – А как по-польски будет «жо-о-о-на»?

Поляк отвечает – Ду-у-у-на!

Наш, подумав, одобрительно кричит в ответ – Тоже краси-и-и-во!

Зима, ночь, мороз и... тоска по прекрасному.

Итак, слова «в дупу» – а не в «дуб», как запомнил дед, – означали место, куда попадали те самые двадцать пять ударов розгами.

Недавно польский премьер-министр возмутился, когда какой-то американский политик назвал Освенцим и Майданек «польскими концлагерями». И правильно возмутился. Потому что это были немецкие концлагеря на территории Польши, оккупированной фашистской Германией.

Так вот, для молодого читателя, в голове которого, вполне возможно, исторические знания спутаны, как овощи в борще, я специально уточняю, что я сейчас рассказываю не о гитлеровских концлагерях времён Второй мировой войны 1939—45 годов, а именно о польских концлагерях для советских военнопленных в начале двадцатых годов XX века.

Конечно, этим польским лагерям было далеко до фашистских фабрик смерти с их газовыми камерами и крематориями. Но и в них жизнь была не сахар. Пленные содержались в нечеловеческих условиях. Антисанитария, отсутствие отхожих мест, голод, холод, издевательство охранников – всё это приводило к болезням и смертям.

Я же расскажу то, что слышал сам от моего деда. Однажды он поинтересовался, будет ли проезжать наш поезд небольшой городок Седльце (Siedlce).

Я, посмотрев на карту, увидел, что город Седльце действительно находится на полпути к Варшаве, и спросил:

– А что? Ты там бывал?

– Да нет, – сказал он после небольшого раздумья, – мне повезло.

Увидев, как я удивился, дед рассказал, что, когда в конце советско-польской войны стороны договорились об обмене пленными, поляки стали переводить военнопленных поближе к границе. Переводили только тех, кто мог идти сам. А дед в это время заболел брюшным тифом и его в числе прочих заболевших отправили в лагерьный госпиталь. После выздоровления дед какое-то время еще находился в лагере и даже успел поработать там и плотником, и сапожником.

Так вот, уже в России дед встретил своих солагерников, и они поведали ему такую историю. Пленным по пути в Белосток пришлось переночевать в городке Седльце. Дело было ранней весной. Ночью ещё стояли морозы. Военнопленных загнали в бывшую конюшню и уложили спать на каменном полу. Температура от наружной практически не отличалась. Наутро половина красноармейцев – это несколько сотен человек (за точные цифры, разумеется, не ручаюсь) – так и осталась лежать. Многие из них скончались.

Моя поездка в ПНР в 1968 году не состоялась. И это уже тема для другого рассказа. Но лет через десять мне всё-таки удалось поехать туда по турпутёвке. Станцию Седльце мы проезжали ранним утром. Уютный городок, припорошенный снегом на фоне серого зимнего неба. В некоторых окнах уже горит свет, кому-то рано вставать на работу. Вот наполовину занавешенное окно, лампа с красивым бежевым абажуром, женщина в халате с кофейником в руке подходит к столу... И снова – спящие окна, темные дома, и вдруг над ними – две спаренные бетонные стелы, увенчанные таким же серым бетонным шаром, на макушке которого возвышается крест.

– Это у них костел такой, современный, – сказал мой сосед по купе, – поляки вообще самая набожная, католическая нация в мире.

Ехать было еще долго, и я рассказал попутчику историю о моем неверующем деду и о «набожных» польских конвоирах, расположивших сотни русских пленных на последний вечерный ночлег.

Концлагерь, где в начале двадцатых содержались пленные красноармейцы, достались полякам от австрийцев, которые построили их еще в первую мировую. В Польше их было довольно много. Дед не назвал конкретно, в каком из них он сидел, однако в его рассказах часто мелькало слово Рембертов. Это – пригород Варшавы. И то же название носил располагавшийся там концлагерь. Там, по его рассказам, он как раз и работал сапожником. В концлагерях существовали разные мастерские.

В марте двадцать первого Советская Россия подписала с Польшей Рижский мирный договор, не менее позорный для нас, чем Брестский мир. Согласно этому договору, граница между двумя странами проходила в тридцати километрах западнее Минска. Вплоть до ноября происходил обмен пленными. Поскольку дед какое-то время проболел тифом, можно предположить, что на Родину он вернулся не раньше октября – ноября 1921 года. А значит, в плену он пробыл чуть больше года. Обстоятельства своего возвращения на Родину дед не помнил – незадолго перед этим он опять заболел, уже крупозным воспалением легких, и из вагона его выгружали в беспмятном состоянии на носилках.

Катынь и Анти-Катынь

Тема пленных красноармейцев в Польше уже довольно давно, а сейчас особенно, используется в русско-польской полемике, как аргумент против катынской трагедии. Появилось даже слово такое «Анти-Катынь». Во время моих поездок в Польшу в 70-е, 80-е годы, если кто-то из поляков заводил разговор о Катыни, я в ответ рассказывал о злоключениях своего деда в польском плену. Чем, кстати, немало удивлял собеседников, ибо ни в ПНР, ни у нас эта тема не освещалась – как никак – «дружба народов». Можно ли сравнивать расстрел 14 тысяч польских офицеров в Катыни по приказу НКВД со смертью 20 тысяч красноармейцев в польском плену?

Конечно, в словах польских историков есть доля правды. Никто в польском руководстве не отдавал прямых приказов на уничтожение пленных. Но, согласитесь, что не могут несколько тысяч молодых здоровых мужиков (а других в армию не брали) просто так взять и умереть в течение одного года. Можно было бы не верить рассказу маршала Воронова, который в двадцатом году, будучи рядовым, тоже побывал в плену у поляков. Но свидетельства о нечеловеческих условиях содержания русских пленных хватает и в польских источниках. И в этой связи, вот какой вопрос хотелось бы задать польским историкам и политикам. А, если бы польских пленных офицеров не расстреляли, а просто положили бы изможденных, голодных, больных ночевать зимой в неотапливаемом сарае на голом каменном полу при наружной температуре минус пять-семь градусов, это бы уже не считалось убийством? И вы, дорогие друзья, уже не так бы о них скорбели? Ну, заболели и умерли. С кем не бывает?

Историческая память

Вообще всё, что сейчас происходит в наших отношениях с Польшей мне, как бывшему советскому человеку, кажется дурдомом – все эти сносы советских памятников, осквернения могил наших солдат, освободивших Польшу от фашистов... У них даже есть Институт Исторической памяти, если не ошибаюсь. О необходимости сохранения исторической памяти говорят и у нас. До последнего времени и я так считал. А сейчас вдруг подумал – а так ли уж нужно помнить всё подряд – и плохое и хорошее, что было между народами? Всё зависит от того, чего мы хотим – войны или мира? А если мы, что более разумно, хотим мира с нашими соседями, то неплохо бы в этом Институте исторической памяти иметь такой небольшой факультет «исторического забвения и взаимного прощения». Интересно, что простые люди, в отличие от политиков, прекрасно это понимают. Сколько наших солдат, оказавшись в 1945 году в послевоенной Европе влюбились в поляк, чешек, в мадьярок, и даже в немок, отцы и братья которых воевали против нас.

Да вот мой дед, простой русский мужик, рассказывая о своих злоключениях в Польше, даже и в мыслях не имел как-то настраивать меня против поляков. Знал, видимо, что среди них немало хороших людей, которые наверняка чем-то помогали ему в те нелегкие годы. Он не пытался заразить меня бациллой ненависти, не желал из-за собственных обид разрушать тот мир, в котором мы все жили, в котором царила настоящая дружба народов. То, что эта дружба была не только на бумаге, я знаю по собственному опыту. Кто в те годы в СССР не любил польскую музыку – Анна Герман, Марыля Родович, «Червонэ гитары», «Скальды», «Два плюс еден»? А как в Польше принимали наших артистов?! А дружба и творческое сотрудничество писателей, поэтов, Булата Окуджавы и Агнешки Осецкой...

Я до сих пор люблю польскую культуру. Я неделями жил в семьях моих польских друзей в Варшаве и под Лодзью. А потом они жили у меня в гостях в Москве. Польский язык в то время я выучил до такой степени, что приходилось иногда случайным польским собеседникам показывать мой «молоткастый-серпастый», чтобы доказать, что я не поляк.

Господи! Какой прекрасной была эта жизнь в дружбе, в радости узнавания других стран, культур, языков, традиций! И это ведь тоже память, которая теперь уже стала исторической. А память о плохом? Да, конечно, она была. Разговоры о Катыни, о Варшавском восстании нет, нет, да возникали. Но, так сказать, под сурдинку. Это никогда не было главной темой нашего общения. Как и положено в приличном обществе. Ну не будете же вы, придя в гости к соседу, который радушно вас принимает, рассказывать ему, каким дураком и негодяем был его прадедушка! Какое вам, в сущности, дело до него? Вам же не с ним жить и общаться.

Мне кажется, историческая память – это, как аптечка, которая содержит и лекарства, и яды. То и другое полезно в разумных дозах. Но если вы не хотите отравить мир, в котором живете, держите яды под замком и подальше от неразумных детей. Ибо, как сказано в писании, не ведают, что творят...

Между войнами

Невест ореховские парни высматривали по соседним деревням и сёлам, что, конечно, не могло нравиться местным кавалерам. В Дубнино деду приходилось ходить довольно часто – и, чтобы на речку попасть, ну и на гулянки. А идти нужно было лесной дорогой. Там вечерами до или после гулянок Дубнинские ревнивцы устраивали засады для «чужаков» из Орехова и Трегубова, которые осмеливались ухаживать за их девушками. Дед мой был небольшого роста, но на выручку ему приходила солдатская сноровка и изобретательность. Об этом, видимо, с его слов, мне рассказывал его сын и мой дядька Николай. Иван, идя на гулянку, носил в кармане солидный камушек, что-то вроде кастета. Когда на его пути вставал какой-нибудь верзила, он начинал что-то невнятно бормотать. Верзила вопрошал: «Чего, чего?». И при этом наклонялся поближе к источнику звука. Но, как только его физиономия оказывалась достаточно близко, следовал сокрушительный удар. Верзила падал, и, поскольку в темноте камня не было видно, его сообщники думали, что нарвались в лице моего деда на необыкновенного силача. Когда «тайна удара» была разгадана, Иван стал пользоваться другим средством защиты – «пружиной». Это была стальная пружинящая лента, которая в согнутом состоянии помещалась в рукаве пиджака. Стоило только энергично потянуть, и она мигом выскакивала из рукава и со страшным свистом разгибалась, нанося противнику весьма болезненный удар.

В Дубнино Иван познакомился с Екатериной и через некоторое время они поженились, о чём свидетельствует «Выпись о браке» Отдела ЗАГС при Овчининском ВИК (волостной исполнительный комитет). Вскоре у них родилась дочка – моя будущая мама. А через год отец Ивана умер. Дом достался по завещанию старшему брату Андрею, а Ивану досталась лошадь – неплохая подмога не только в поле, но и в строительстве. Свой дом Иван начал строить почему-то не в своей деревне, а в Дубнино. Через два года жена родила ему сына. Всё шло своим чередом. Иван, как и раньше, работал то в Москве, то в деревне. Но в конце двадцатых коллективизация вступила в активную фазу. Коммунисты начали отбирать у крестьян скот для создания колхозного стада. Иван понял, что той жизни, о которой он мечтал, уже не бывать. Да к тому же, советские власти приветствовали переезд крестьян-плотников в города, где в то время не хватало рабочих рук. А с отхожим промыслом в деревнях было надолго покончено.

Наскоро продав остатки имущества, Иван и Екатерина со своими двумя детьми – Зоей и Колей – и с четырнадцатилетней сестрой Екатерины Надей переехали в Москву и поселились неподалеку от Курского вокзала в районе с неблагозвучным названием -Сыромятники, о котором я поподробнее расскажу немного позже. Как это часто делается в России, отхожий промысел запретили, плотникам предложили жить в городе, а о том, куда их поселить, никто как-то не подумал. В результате семья моего деда в составе пяти человек какое-то время жила вместе с семьей его брата Андрея, имевшего такое же количество домочадцев, в комнатке размером в 10 квадратных метров в полуподвальной коммуналке в Сыромятниках. То есть на каждого человека приходилось по одному квадратному метру. Сейчас даже покойнику на кладбище больше площади отводится. Потом Ивану дали свою комнату в соседнем доме. После Андреевой клетушки комната в четырнадцать квадратных метров в такой же полуподвальной коммуналке казалась дворцовой залой. Иван был единственным кормильцем семьи, и, чтобы всех прокормить, ему приходилось работать «по две, по три смены». Так говорила бабушка. Сам же дед рассказал мне лишь об одной работе, в которой ему пришлось участвовать в этот период между двумя войнами.

Могильщик Могильщика

По Карлу Марксу пролетариат должен был стать «могильщиком буржуазии». В реальной жизни этого не произошло. Пролетарии по сей день худо-бедно, а чаще совсем неплохо сосу-

шествуют со своими работодателями. Иногда, правда, устраивают забастовки, или митинги, но, как говорится, милые бранятся – только тешатся. Настоящими же могильщиками буржуазии были и остаются революционеры. И первым среди них не на словах, а на деле стал наш Владимир Ильич Ленин.

Весной 1924 года мой дед принимал участие в строительстве мавзолея В. И. Ленина. Не того, отделанного гранитом, который мы видим на Красной площади сейчас, а деревянного. Он был вторым по счёту. Первый, наспех сооружённый сразу после смерти Ленина, был тоже деревянным и представлял из себя куб, увенчанный небольшой ступенчатой пирамидой. Второй вариант был уже довольно похожим прототипом нынешнего, но тоже из дерева. Сейчас в Интернете можно найти фотографии, сделанные во время его строительства. Рассматривая их, я всё пытаюсь отыскать среди плотников, работающих молотками и пилами, или просто позирующих перед камерой, молодого двадцатитрёхлетнего паренька, коренастого и круглолицего в рыжих веснушках. Да где там! Даже, если он и есть на этих фотографиях, их качество не позволяет в этом убедиться. Но то, что мой дед Иван там работал, это точно. Это было одно из немногих событий в его жизни, о которых он мне рассказывал неоднократно. При этом на лице его возникала свойственная ему саркастическая улыбка. Дед не был коммунистом и был далёк от всякой патетики. Насмешливость, ирония, сарказм были частью его мировосприятия. Естественно, насмешка эта проявлялась в основном дома. Даже в шестидесятые насмешка над основоположниками была чревата. Так вот сейчас по прошествии лет я думаю, а не была ли эта его улыбка реакцией на некоторую иронию судьбы, которую он чувствовал, но никогда не решился бы озвучить? Советская власть превратила его из крестьянина, в пролетария, который по Карлу Марксу должен был стать «могильщиком буржуазии», а он, (Вот поди ж ты!) оказался в каком-то смысле могильщиком её главного могильщика.

Вторая война Ивана Горохова – Великая Отечественная

Я уже говорил, что дед, как и все «Горохи» был редкостным молчуном. Из него все сведения приходилось вытягивать силой. Поэтому всё, о чём я сейчас расскажу основано преимущественно на документах деда, – солдатских книжках, справках – и на той информации, которая находится в открытом доступе в Интернете.

До ноября сорок первого года дед служил в войсках МПВО (Местной противовоздушной обороны) Москвы, которые подчинялись Наркомату внутренних дел. Это был период интенсивных воздушных налетов фашистских бомбардировщиков на Москву. Далее деда направили служить в Отдельный пулеметный батальон, принимавший участие в обороне Москвы. Мне всё-таки удалось вытянуть из него, что он был командиром пулемётного расчёта, и я с гордостью рассказывал своим друзьям во дворе и в школе, что дед стрелял из пулемета «Максим» по фашистам. Как и все мальчишки, я спрашивал его – А сколько фашистов ты убил? Да кто его знает? – отвечал дед, -Разве там в бою посчитаешь? Служба была прервана болезнью. Дед рассказывал, что несколько раз перенес в тяжелейшей форме воспаление легких. Здоровье ему сильно подорвал польский плен. После лечения в госпитале в Архангельском зимой сорок второго дед попал в район так называемого Ржевского выступа, где воевал в составе Брянской Пролетарской стрелковой дивизии.

О боевом пути этой дивизий, первоначально сформированной из рабочего ополчения Брянска, в интересующий меня отрезок времени, я прочитал следующее:

С сентября 1942 года по март 1943 года дивизия вела оборонительные бои на правом фланге Западного фронта, на Ржевско-Сычевском направлении. Это были упорные бои местного значения, в которых воины соединения показали образцы мужества и героизма.

Только недавно наши историки осмелились объединить эти «бои местного значения» и отдельные наступательные и оборонительные операции в районе Ржева в одно понятие – «Ржевская битва». Хотя немцы в своих мемуарах давно уже называли это кровопролитное сражение, длившееся с переменным успехом полтора года, не иначе, как «Ржевская мясорубка». Ведь и по длительности, и по количеству потерь с той и с другой стороны Ржев мало в чём уступал Сталинграду. Известно, что среднее «время жизни» рядового пехотинца в период жесточайших боёв в Сталинграде составляло полтора дня. По Ржеву пока что такой статистики нет. Но, когда я смотрю материалы об этом сражении, когда я читаю, что за четыре года войны личный состав нашей пехоты трижды «обновился» почти полностью, я понимаю, что деду крупно повезло, когда в феврале сорок третьего он был тяжело ранен.

Несколько месяцев дед лечился в эвакогоспитале в Свердловске. Там, кстати, была сделана единственная его фотография за всю войну. После госпиталя он какое-то время служил командиром отделения в запасной стрелковой дивизии, а в конце войны был и вовсе демобилизован, и военный фронт сменился для него фронтом трудовым. Потомственный плотник Иван Горохов был направлен на восстановление разрушенного войной Ленинграда. Об этом говорит его рабочая книжка конца войны, которая так и называется – «Книжка участника послевоенного восстановления Ленинграда».

Приезжая в Питер, я всё время останавливался в Невском районе, а в последнее время – недалеко от улицы Седова, на которой с давних пор живут родственники бабушки. Мне часто приходилось бродить по этой улице и по её окрестностям от проспекта Елизарова и до улицы Полярников. И каждый раз какое-то совершенно непонятное чувство охватывало меня при виде этих обычных домов постройки 50-х, 60- годов прошлого века, заслоненных от шумной проезжей части рядами высоких ясеней и тополей, при виде старых кирпичных стен заводских корпусов, возле одного из которых замер на вечной стоянке черный паровоз с красной звездой. Мне казалось, что причиной тому могут быть мои детские воспоминания о первой

поездке в Ленинград в 1960 году. Но вот, открыв упомянутую ленинградскую рабочую книжку деда, я, кажется, понял причину своей симпатии к этому району, а, может быть, и какого-то особого «расположения» самих этих улиц и домов ко мне. В графе «место работы» был указан Ленинградский вагоноремонтный завод, который находится как раз на улице Седова, почти напротив того самого черного паровоза... Видимо, есть на земле места, которые безо всяких мемориальных досок и монументов умеют хранить в себе память о людях и событиях и открывать её тем, кто может быть к ней причастен и неравнодушен.

После войны

Дед вернулся в Москву из Ленинграда в начале сорок шестого и вскоре устроился в столярный цех завода «Манометр». И опять, как и в тридцатые годы, – работа, что называется, на износ, иногда по две-три смены. Ведь с 1948 года, когда появился на свет автор этих строк, и бабушке пришлось уволиться с работы, дед вновь стал практически единственным кормильцем в семье.

Когда я немного подрос, он пару раз водил меня на завод в свой цех. Помню, как дед вёл меня, держа за руку, по утреннему, залитому майским солнцем, переулку. Он был почти пуст – многие наши соседи вставали ещё раньше, чтобы успеть на электричку или автобус. А завод деда был рядом, в двадцати минутах ходьбы. Как сильно действует на мои воспоминания такая, казалось бы, мелочь, как погода, с её светом и тенью, с её ветром, приносящим прохладу и запахи – сначала загадочный аромат сирени, которая буйно цвела за оградой у подножия холма, на котором стояла мамина школа. Затем – не менее изумительный запах керосина, который лучше всяких табличек извещал нас о приближении керосинной лавке. Дальше мы проходили мимо магазина «Меркурий», располагавшегося в красном кирпичном здании, крыша которого на углу была увенчана куполом и маленьким шпилем. По широкой улице, которая по какому-то странному недоразумению называлась переулком, уже гремели первые утренние трамваи. Миновав швейную фабрику Клары Цеткин и желтое здание ДК Метростроя, куда мы обычно ходили смотреть кино, мы оказались в арке железнодорожного моста. А за аркой было уже рукой подать до завода. Каждый раз, когда я проезжаю на поезде над этой аркой, отправляясь куда-нибудь на юг, передо мной на секунду возникает видение того далекого утра, того непередаваемого ощущения счастья со всеми его шумами и запахами, с большими, грубыми пальцами деда в моей ладони. Запомнилась широкая заводская площадка сразу после проходной. Худощавый рабочий в серой спецовке, присел на край скамейки возле входа в цех и, щурясь на солнце, торопится выкурить последнюю папироску перед сменой. Лужи от прошедшего ночью дождя покрыты радужной плёнкой бензина. Стремительно скользят по яркому небу белые облака над заводскими корпусами. А в столярке, будто попадаешь в другой мир – вой станков, запах свежей доски жёлтые кудри стружки по всему полу и, кажется, даже по стенам. И опять – запахи... Самые незаметные, но при этом и самые прочные ниточки памяти. По сей день этот букет индустриальных ароматов свежей доски, металла, бензина, масел и лаков подсознательно воспринимается мною, как чувственный образ сотворения нового мира в его предметной ипостаси.

Как я теперь понимаю, основной продукцией столярного цеха были деревянные лакированные корпуса различных измерительных приборов, которые выпускал завод, например биметаллических термометров, которые, кстати, были в то время большой редкостью. В свободное от основной работы время, если такое оставалось, дед делал шкафы, полки и столы для дома. Практически, вся наша деревянная мебель была сделана руками деда. Отделана она была светлым лакированным шпоном. И отличить её от фабричной вряд ли кто-нибудь смог бы. Первые мои игрушки – кораблики, самолёты – были тоже из дерева. Но больше всего запомнился маленький деревянный пистолет, стволом которому служила обычная катушка из-под ниток. Пуля в виде шарика или бусинки выталкивалась из ствола палочкой, приводимой в движение самой обыкновенной резинкой.

По мере сил дед пытался и мне передавать своё мастерство. Правда, педагог он был «никакой», что часто случается с хорошими мастерами. Ведь их мастерство им подарено свыше, впитано ими, что называется, с молоком матери. И они не способны толком объяснить, как у них всё так ловко получается. Лучшими учителями становятся те, кто, не обладая природными талантами, проявляют огромную волю и целеустремленность в своём жела-

нии стать мастером, и при этом способны запомнить и передать другим все этапы и приёмы обучения. Дед был потомственным плотником и столяром, и этим всё сказано. Ему не хватало терпения наблюдать за моими неловкими попытками «отрезать» доску или «пришить» её гвоздём к брусу. Он отбирал у меня инструмент и уже сам быстро «отрезал» и «пришивал». Именно так. Он никогда не говорил «отпилить» или «прибить». И, всё-таки, эти уроки не прошли даром. Со временем я научился обращаться со столярными и слесарными инструментами, которые достались мне в наследство. Что ни говори, а «кровь людская не водица» – что-то и мне в генах передалось. До сих пор я испытываю необъяснимый трепет, глядя на рубанки, фуганки и молотки, рукоятки которых отполированы грубыми, шероховатыми ладонями деда.

Но столярное дело было далеко не единственным ремеслом, которым он владел. Вообще, я запомнил деда, как абсолютно универсального работника. Он чинил обувь, шил тапки, выполнял все ремонтные работы от мебели, паркета и до сантехники, электрики, ремонтировал телевизоры и собирал транзисторные радиоприемники. Когда его хвалили, он, «окая» по-владимирски приговаривал «А чого? Мы и часы починить можем! Только не влезешь топором!» И, самое интересное, он действительно чинил часы, правда, в основном, большие будильники. При этом он еще хорошо готовил. Конечно, не так вкусно, как бабушка. Но зато у деда был фирменный напиток – красное вино, которое он делал из сушеной вишни в огромных бутылках. Необыкновенно вкусное, в меру сладкое, цвета тёмного рубина.

Что до собственных гастрономических предпочтений деда, то бабушка, смеясь, называла его «солощим». В основных толковых словарях это слово толкуется, как «лакомый», «прожорливый», «ненасытный». Дед не был ни тем, ни другим и ни третьим. Только лишь в словаре Татьяны Ефремовой я отыскал то значение, которое вкладывала в это слово бабушка. Солощій – «неразборчивый в пище». Коронным блюдом деда, которое он ел только сам лично, было то, что Джером К. Джером в своей знаменитой книге назвал «рагу по-ирландски». Это, когда в кастрюлю с остатками щей вываливаются все остальные остатки еды – от недоеденной вnuком котлеты с картошкой до винегрета и гречневой каши, а затем всё смешивается и недолго варится. Голод, перенесённый во время войны, в плену, да и в мирные времена, делает человека неприхотливым в пище.

Прогноз погоды

Но самым интересным и неожиданным для меня увлечением деда было его занятие метеопрогнозами на полгода вперёд. Да, да! Этот владимирский плотник с четырьмя классами образования бросал вызов коллективу Гидрометцентра СССР со всеми его научными сотрудниками и умудренными докторами наук. И надо сказать, весьма успешно. Правда, он предсказывал не всю погоду, а только лишь осадки – дождь или снег. Но на полгода вперёд! Каждый вечер по выходе на пенсию дед сидел на кухне, склоняясь над потрепанной амбарной книгой, и отмечал в таблице – были сегодня осадки или нет. Мне он пояснил, что в основе его прогноза лежит «Календарь Якова Брюса». Однако, наводя сегодня справки об этом петровском вельможе полководце и чернокнижнике, удивительном, разностороннем человеке, я не нашел у него того способа, которым пользовался мой дед. Яков Брюс действительно делал прогноз погоды на основании астрологии. Но не за полгода, а за несколько лет вперёд. Метод же, используемый дедом, никакого отношения к лженаукам не имел и выглядел напротив вполне себе научным, основанным на данных многолетней статистики, гласящих, что для каждой местности характерно своё, из года в год постоянное, количество осадков. Поэтому, если зимой, например, снега было мало, то лето должно быть дождливым. Весь год в дедовой книге был поделен пополам, так, что каждому дню зимы – осени соответствовал определенный день весны – лета. Дед периодически, обычно в конце года, подводил статистические итоги. И что вы думаете, – верные прогнозы составляли от шестидесяти до девяноста процентов от общего количества! Метеорологи пишут, что, если делать прогноз за неделю, то точность в семьдесят процентов – это очень хороший результат. Дед предсказывал осадки за полгода. И как же иногда забавно было слушать, когда диктор по радио объявлял «Сейчас в Москве солнечная погода. Осадков не ожидается». Дед хитро мне подмигивал и кивал на окно, за которым моросил дождь в полном соответствии с его записью в амбарной книге, сделанной полгода назад. Недавно я откопал в недрах кладовки эту драгоценную книгу и попытался продолжить дело своего предка уже с помощью компьютера. Однако, к моему огорчению, у меня ничего не получилось. То ли дед знал ещё какие-то секреты и унёс их с собой в могилу, то ли, что более вероятно, погода на планете поменяла свой нрав под влиянием неутомимой технической деятельности человечества на благо себя родимого.

Мужское воспитание

Я рано остался без отца. И главным мужчиной в нашей семье в первые годы моей жизни был, конечно, дед. Начать хотя бы с того, что с ним мы ходили в баню. Вернее, в бани. Это были Хлебниковские бани, до которых мы добирались пешком целых полчаса. Особенно длинной дорога казалась мне зимой. Мы доходили от нашего дома до Костомаровского переулка и, повернув направо, шли до моста с таким же названием, по которому переходили на противоположный берег речки Яузы. Почему-то все банные дни мне запомнились хмурыми и морозными. С реки дул ветер, мела позёмка, пустычная для взрослых, а для человека пяти лет от роду – самая что ни на есть метель. Впереди слева виднелись стены крепости, которая называлась «монастырём». А справа на фоне серого неба высились силуэты каких-то красивых башен с круглыми куполами. В этих башнях неуютно зияли высокие узкие окна без стёкол. А рядом с ними стояли здания пониже, но с такими же округлыми крышами. На мои расспросы дед ответил коротко – «Это церкви. Там раньше люди Богу молились». Слова эти мало что для меня прояснили. Но дальше дед ничего рассказывать не стал – он с юных лет был атеистом. Таким было первое моё знакомство с религией. Сегодня Сергиевская церковь и стены Андроникова монастыря образуют единый архитектурный ансамбль площади Сергия Радонежского. А в то время состояние этих памятников было плачевным. Сергиевский храм без крестов и колоколов возвышался над улицами мрачной серой громадой.

Так, изрядно промёрзнув, мы доходили до бань, располагавшихся в Хлебниковском переулке. После мытья в шумной и мутной от пара банной зале с железными шайками на серых каменных лавках мы попадали в предбанник, где были чёрные кожаные диваны с высокими деревянными спинками, и белые простыни, где гул разговоров и перебранок перекрывал сладкий тенорок из черного репродуктора – «На солнечной поляночке дугою выгнув бровь...». Одевшись, мы спускались в буфет. Там дед обязательно, даже в сильные морозы выпивал кружку холодного пива, которую закусывал солёными сушками. Я несколько раз безуспешно просил его дать мне попробовать этот, как мне казалось, сказочно вкусный напиток с такой красивой густой пеной. И однажды дед всё же уступил моим просьбам, после чего я надолго потерял интерес к пиву – вместо ожидаемой сладости я с отвращением почувствовал какой-то солоновато-горький вкус.

Что же касается моего воспитания в привычном значении этого слова, то дед им практически не занимался. За исключением, пожалуй, одного случая. Мне было лет пятнадцать, когда со мной вдруг захотел общаться Колька сын маминой подружки. Как-то, мы вместе провели лето в её родной деревне. Колька был года на два моложе меня. В первую же нашу встречу он поделился со мной своей заветной мечтой. Нет, этот мальчик вовсе не хотел стать офицером, как его отец, или космонавтом, как Юрий Гагарин. Страстным желанием Кольки было... попасть в тюрьму. Он с восторгом передавал мне услышанные им от кого-то рассказы о том, какие «прекрасные» порядки царят в этом заведении, как надо правильно «прописываться» новичку, чтобы его уважали, ну и прочие прелести, от которых у меня мурашки бегали по коже. Я был настолько впечатлён, что, придя домой, сразу же поделился с мамой, которая Кольку тоже хорошо знала и далеко не с лучшей стороны. Поэтому в следующий раз, когда Колька вновь приехал к нам – он жил в другом районе, – мама, естественно, не разрешила мне пойти с ним. Но, куда там! Я ведь уже взрослый человек! Несмотря на запрет, я оделся и уже стал открывать дверь, как вдруг появился разъяренный дед и бесцеремонно захлопнул дверь перед моим носом. Я попытался ещё раз выйти, но дед грубо меня оттолкнул и запер дверь на ключ, который тут же положил себе в карман. Что со мной было! Так опозорить меня перед мальчишкой, который моложе меня на целых два года! Я кричал, я плакал от гнева. Я думал, что

никогда не прошу деду такого унижения. А сейчас я жалею лишь о том, что, став взрослым, так и не успел поблагодарить его за это. Как, впрочем, и за всё остальное, что он сделал для меня...

Последнее дело

Всё, что происходит с нами в жизни, можно грубо поделить на поступки и события. Ясно, что наши поступки или дела и их последствия зависят во многом от наших желаний. В то время, как события происходят независимо от нас. Собственно, сама наша жизнь и наше рождение являются событиями, возникающими вне нашей воли. Казалось бы, и смерть, если она наступила по естественным причинам, от нас не зависит. Это вполне очевидно с точки зрения здравого смысла, и спорить с этим могут разве только какие-нибудь чудаки, вроде художников или поэтов. В ранней юности я прочитал стихотворение Булата Окуджавы, в котором, честно признаюсь, мало что понял, но вот эти строчки запомнил:

Умереть – тоже надо уметь, как прожить
от признанья до сплетни,
и успеть предпоследний мазок положить,
сколотить табурет предпоследний...

Последняя строчка – это точно про моего деда. Он за свою жизнь сколотил такое множество табуретов и прочих предметов мебели, что они до сей поры целиком или фрагментами присутствуют у меня дома и на даче. Но самое интересное, что и первая строчка тоже о нём.

У меня перед глазами ранний летний вечер 1976 года. Ещё выходя из автобуса, я замечаю маму, стоящую в лучах послеполуденного солнца на ступеньках, ведущих к нашему подъезду. Заметив меня, мама поднимает руку с каким-то листком бумаги и машет мне. На её лице счастливая улыбка. Мне не нужно ничего объяснять – этот листочек ничто иное, как ордер на обмен.

За год до этого вечера мама получила от института, в котором трудилась, новую двухкомнатную квартиру, и переехала туда вместе со стариками, оставив за мной нашу комнату в коммуналке на Ленинском. И мы сразу стали искать возможность съехаться, то есть поменять эти две жилплощади на трехкомнатную квартиру. Полгода ушли на поиски вариантов. Я пересмотрел сотни карточек в бюро обмена, проштудировал издававшиеся тогда журналы объявлений, но подходящего варианта всё никак не мог найти. В феврале скоропостижно скончалась бабушка. Едва пережив это горе, мы возобновили поиски обмена. И вот летом слёг дед. Назвать совместную жизнь наших стариков идеальной язык не повернётся. Было всё – и ругань и обиды. Но при этом – и неизменная, самоотверженная забота друг о друге. А взаимная любовь? Мы её не замечали. Ни ласковых слов, ни нежных взглядов. Вся их любовь была направлена на нас. Каждый из них любил нас по-своему, но всё же это было их совместное единое чувство, в котором они поддерживали друг друга. Когда ушла бабушка, мне даже показалось, что дед стал по отношению к нам более угрюмым и ворчливым, что его родственные чувства к нам ослабли без бабушкиной «поддержки». На самом деле он просто ушёл в своё горе. Он сильно занемог, и врачи предписали ему покой и лечение. Но, какое там! Он, как и прежде, то брался ремонтировать сифон на кухне, то мастерил какую-то полку. А иногда и вовсе пропадал на целый день и возвращался, едва дыша, с тяжёлыми сумками, где лежали небольшие лопатки, грабли, какая-то рассада – чуть ли не каждый день он стал ездить к бабушке на могилу. Кончилось это тем, что в конце июля его положили в Боткинскую.

Между тем поиски варианта обмена продолжались. И однажды я увидел на фонарном столбе у троллейбусной остановки объявление с вариантом обмена, который показался мне вполне приемлемым. Да и дом, адрес которого был указан, оказался прямо напротив. Я тут же позвонил по телефону-автомату на указанный номер и предложил свой вариант, который был сразу же принят. Там молодая семья, наоборот, хотела жить отдельно

от родителей. После взаимных осмотров, укрепивших обоюдное желание поменяться, завершилась процедура оформления. Надо вам сказать, что в те времена все сделки с недвижимостью строго контролировались властями. Советское государство неусыпно следило за тем, чтобы, не дай Бог, какой-нибудь рабочий или инженер не покусился на жилплощадь больше положенной ему нормы. Поэтому в трёхкомнатную квартиру имела право въехать только семья, состоящая из трех человек. И пока что наша семья – я, мама и дед, – соответствовала этим требованиям. Пока...

И вот, наконец, долгожданный ордер на обмен получен. Я подхожу к маме, обнимаю её и, не веря своим глазам, читаю документ, разрешающий нашей семье поселиться в трёхкомнатной квартире, в той самой трёшке на шестом этаже, которую мы уже заранее полюбили. По этому случаю мама даже устроила небольшой праздничный ужин, и мы с ней вдвоём – я с бокалом вина, она со стаканом сока – помянули бабушку и выпили за здоровье деда.

На следующий день мне на работу позвонили из Боткинской.

– Приезжайте! Ваш дедушка в очень тяжелом состоянии.

Сообщив об этом маме, я попросил её не ездить самой, а позвонить дяде Коле, и отправился в больницу. Дед был уже в беспомощном состоянии. Вскоре приехал дядька. Дед уже никого не узнавал, он судорожно хватал нас за руки и хрипло бормотал, будто стараясь сообщить что-то важное. Я даже предположил, что речь шла о каких-то деньгах, но разобраться что-то было невозможно. Подушка была слишком низкой для больных-сердечников. Я подсел на кровать и приподнял деда чуть повыше, подперев его со спины. Через несколько минут я услышал последние удары его сердца...

Умереть – тоже надо уметь,
как бы жизнь ни ломала
упрямо и часто...

Глава вторая. Дедова родня

Ни одного из братьев деда я не помню. Хотя с кем-то из них я наверняка встречался. Ведь все они жили неподалеку от нас. Однако, встречи эти происходили в том возрасте, когда память моя еще не научилась надолго сохранять события и лица. Но вот с сёстрами деда, и в особенности с их потомками, я знаком несколько больше.

Александра-монашка

Старшую сестру Александру я видел всего лишь раз. Мне было лет десять, когда дед попросил своего знакомого отвезти нас на машине в город Покров, что на юге Владимирской области. Это была первая в моей жизни длительная поездка на автомобиле. Кажется, это была популярная тогда «Победа». Скорость, с которой мы мчались по шоссе, приводила меня в трепет. Стрелка на спидометре временами подбиралась аж к 80 километрам в час! И это первая причина того, что поездка запомнилась. Вторым памятным событием было посещение церковной службы. Оно было недолгим и вынужденным. Александра, смогла выйти к нам только после окончания литургии, которую она сама и проводила. В то время в Покрове не было священника. Но даже эти короткие мгновения, наполненные звуками молитвы, пения хора, запахами стеарина и ладана, отблесками нимбов святых и окладов икон, наполнили мою душу ощущением прикосновения к некоей неведомой доселе тайне, которая меня одновременно и манила и пугала.

Мы встретились после службы в каком-то помещении при храме, может быть в трапезной. Александру у нас в семье всегда звали монашкой, хотя в то время она ещё жила не в монастыре. Помню её грузную фигуру, одетую в чёрное на фоне зелёной стены. В тусклом свете лампы она сидела, положив руку на небольшой столик слева, и улыбалась мне.

– А ты крещёный? – спросила она.

Я даже не понял, о чём это она, и посмотрел на деда. Тот отрицательно покрутил головой.

– Как же так? Грех какой? Надо мальчика покрестить обязательно!

Дед быстро перевёл разговор на другую тему, которая, видимо, и была причиной нашей поездки. При прощании Александра осенила меня крестом и вновь повторила:

– Обязательно надо мальчика покрестить!

На обратном пути я всё спрашивал его, что значит «покрестить». И дед, как мог, описал мне этот обряд, разумеется, не объяснив его смысла, коего сам не особо понимал и не признавал.

Через несколько лет мы узнали, что Александра перешла жить в монастырь, приняв в монашестве имя – мать Евпраксия. Затем из этого монастыря она перешла в другой и, в конце концов следы её затерялись. Родственники предпринимали попытки её найти, рассылали письма во все инстанции, но всё оказалось напрасным. Судьба последних лет Александры так до сих пор и осталась тайной для нас.

Тётя Таня и Танечка

Младшая сестра деда Татьяна отпечаталась в ранней памяти моего детства только потому, что один летний месяц в возрасте трёх или четырёх лет я провёл у неё в гостях в городке Покров, где она, также, как и сестра Александра, жила в своем частном домике вместе с сыном Славиком. Её дочь Мария в те времена уже уехала работать на Дальний Восток и поселилась в небольшом поселке на берегу Амура. А старший сын Владимир служил в армии.

Было жаркое лето. Славик, четырнадцатилетний пацан был для меня образцом для подражания. Обычный его наряд состоял из трёх предметов – чёрная вышитая узорами тубетейка, широкие чёрные шаровары и кожаные сандалии на босую ногу. Из-за ослабшей резинки шаровары постоянно сползали и обнажали выпуклый пупок Славика. Меня же одевали в рубашонку, короткие штанишки на лямках и плюс обязательная панамка на голову. Такое обидное несходство с кумиром приводило меня в отчаяние. Когда меня спрашивали, почему я плачу, я рыдал – «Хочу, как Славик!», – показывая при этом вверх на предмет обожания. Бабушка специально сходила в магазин и купила мне тубетейку. Однако я продолжал плакать. «Так что ты хочешь?» – недоумевала бабушка. «Хочу, как Славик, гулять с голой пупой!»

Дальнейшая жизнь Славика как-то тихо и незаметно протекала параллельно с жизнью нашей семьи, лишь изредка с ней соприкасаясь, в основном, во время похорон родственников. Он оказался ещё большим молчуном, чем мой дед. И их редкие встречи во время приездов Славы в Москву превращались в растянувшиеся минуты молчания. На вопросы деда, приходившегося ему дядькой, Славик отвечал односложно, немного смущаясь. Но молчание это, как мне казалось, роднило их больше, чем бойкая болтовня иных родичей. Однажды он приехал к нам со своей избранницей Татьяной, розовощекой русской красавицей, такой же немногословной, как и он сам. Вскоре они поженились, и у них родился сын Сергей. Имена Сергей и Татьяна стали традиционными в роду Красиных. Такова была фамилия мужа дедовой сестры Татьяны, Сергея. Родом Сергей Красин был тоже из Владимирской области, из деревни Мостец. Не знаю, как в те довоенные времена, но теперь между этой деревней и деревней Орехово, где жили все Гороховы простираются огромные непролазные Дубнинские болота. О Сергее Красине мало что известно – он погиб ещё в финскую войну. Осталась лишь фотография конца 30-х годов, на которой – мужчина в очках в форме командира красной Армии.

Дочь Татьяны Мария иногда бывала у нас проездом с Дальнего Востока на родину в Покров или на курорт. И тут я хочу вспомнить эпизод, который наглядно говорит об отношении деда к своим родным. Как-то в начале зимы мама пообещала съездить со мной на каток в Лужники или в Парк культуры. Целую неделю мы предвкушали это событие. Для меня были взяты коньки у каких-то маминых знакомых, и я их каждый день примерял и пробовал кататься во дворе по снегу, что не очень-то получалось. И вот, наконец, наступило воскресенье – в то время единственный в неделе выходной день. Мы собирались на каток, и мама, встав на стремянку, стала искать на антресоли свои коньки-канады, купленные пару лет назад в комиссионном магазине. В конце пятидесятых это было большой удачей. В стране, не так давно пережившей страшную войну, царил дефицит на всё и вся. Перерыв антресоль, мама коньков не нашла и стала искать в других местах, в шкафу, под кроватями – всё напрасно! Коньки пропали! В это время в комнату вошла бабушка и с испуганным видом, зная мамин взрывной характер, произнесла:

– А я тебе разве не говорила? Отец их ещё летом Марии подарил...

Боже, что тут было! Бедная бабушка пережила первую волну маминого негодования. Но вечером досталось и деду.

Иногда приезжал к нам муж Марии Андрей. Один его визит мне хорошо запомнился. Я уже работал инженером и считал, что неплохо живу. Но Андрей, узнав, сколько я зарабатываю,

оказался на этот счёт другого мнения. «Ты что так и хочешь тут поседеть и облысеть с такой зарплатой? – спросил он меня как-то после очередного застолья, – Бросай ты это дело, эту свою Москву! Приезжай к нам в Хабаровск! У нас – дальневосточные надбавки, премии каждый квартал!» Сейчас трудно в это поверить, но в те времена люди в некоторых регионах жили действительно гораздо богаче, чем в столице. Со временем редкие встречи сменились редкими письмами, в последнем из которых мы узнали, что дочь Марии и Андрея, Татьяна вышла замуж и уехала с мужем Александром в Дальнегорск.

С некоторых пор я стал задумываться о том, почему родственные связи, казавшиеся нам в детстве и юности такими прочными и естественными, с годами начинают ослабевать, а то и вовсе прекращаются. Я уж не говорю про Европу, где и родные-то братья и сёстры зачастую не хотят общаться. И почему, напротив, в некоторых странах так называемого третьего мира, до сих пор мы видим крепкие большие семьи, включающие в себя не только детей и внуков, но и многочисленных племянников, теток, двоюродную родню. Ответ на эти вопросы я получил несколько лет тому назад во время поездки в Доминикану. Русская женщина-гид, давно уже там живущая, рассказала нам, что пенсию в этой солнечной стране получают только госслужащие. Система страхования практически отсутствует. Для большинства жителей республики в старости, при потере работы или во время болезни есть лишь одна единственная надежда и опора – это их семья, их многочисленные родственники. Поэтому здесь такие прочные родственные связи. То есть, чем меньше о нас заботится государство, тем больше людям нужны их родственники. У нас же сейчас люди сходятся и общаются не столько по родству, сколько по взаимной симпатии, по общим интересам и одинаковым взглядам на жизнь. А в экстренных ситуациях очень часто сосед по дому или напарник по работе оказывается нам ближе самого близкого родственника.

Мне повезло – многих своих родственников я люблю, как настоящих друзей, а не только «по зову крови» или по закону родства. Таким был и старший сын дедушкиной сестры Татьяны – тот самый дядя Володя, который всю свою жизнь посвятил воинской службе. Он был военным лётчиком. И уже одно это поднимало его авторитет в моих мальчишеских глазах на недостижимую высоту. Но при этом он был человеком необычайной скромности и огромного обаяния. Я далёк от мысли, что в обычной жизни дядя Володя улыбался всем направо и налево, но в редкие дни наших встреч добрая, солнечная улыбка не сходила с его лица. Он действительно очень любил своего дядьку Ивана Ивановича и всю нашу семью. И мы отвечали ему тем же. Как и все военнослужащие, он периодически переезжал на новое место службы. Сначала это было Забайкалье – Чита, потом латвийский Даугавпилс, потом городок Дебрецен в Венгрии и наконец Гродно на западе Белоруссии. Ирина Ивановна с сыном Сергеем живёт там до сих пор. А старшая их дочь Татьяна, окончив Гродненский медицинский, переехала жить в Минск. С Татьяной, Танечкой, которая приходится мне троюродной сестрой, мы уже давно исключили из наших отношений эту непонятную «Трою-» и считаем друг друга просто родными. Родными не только и не столько по крови, сколько по духу, по интересам. Наше знакомство произошло в далекие шестидесятые, когда Красины гостили у нас проездом на отдых в южные края. Я в свои шестнадцать казался восьмилетней Танюшке взрослым дядькой. Не имея большого опыта общения с детьми, я всё думал, как бы развлечь юную родственницу и, наконец, стал учить её играть в шахматы. Девчонка оказалась очень способной. Правда, убедился я в этом не сразу, а по прошествии многих лет, когда Татьяна уже взрослой девушкой приехала к нам и как-то после застолья предложила мне сыграть пару партий. Я согласился и, расставляя фигуры, уже предвкушал лёгкую добычу. Каково же было моё удивление, если не сказать огорчение, когда эта нахалка общёлкала меня под сухую в трёх партиях! Несколько смягчило горечь поражения лишь напоминание Татьяны о том, что именно я научил её этой игре. Что ж, надо признать, я оказался неплохим учителем.

Как-то в начале века нынешнего я приехал к Татьяне в гости. Пообщавшись и погуляв пару дней по Минску, мы вместе с её младшим сыном Серёжкой поехали в Гродно. Таня привезла нас на своей иномарке прямо к пятиэтажке, где жили родители и её младший брат. Дядя Володя сильно изменился, отрастил усы, постарел. Однако взгляд оставался таким же тёплым, приветливым. На следующее утро все вместе мы отправились на дачу.

Шесть соток с весьма скромным домиком располагались на самой границе садового товарищества, рядом с прекрасным сосновым бором. Ранним летним вечером мы разожгли костёр на большой поляне и устроили посиделки с шашлыками, с песнями под гитару. Когда стемнело, вернулись на участок, но спать и расходиться не хотелось. Небо было усыпано звёздами. Мы сидели на лавочке возле домика втроем – Таня, дядя Володя и я. С покинутой нами поляны до нас ещё долетал дым погашенного костра, и я вдруг вспомнил такие же звёздные ночи у костров на Карпатах, где в августе 1968-го мы студентами были в походе по местам боевой славы. Вспомнил и рассказал, как однажды в городке Мукачево мы проснулись ночью от рёва самолетов и грохота танков, идущих нескончаемой колонной под окнами школы, в классах которой мы ночевали. Как из своих транзисторных приемников услышали сообщения то ли «Немецкой волны», то ли «Радио Свободы» о том, что наши танки вошли в Чехословакию. И тут, вдруг, немногословный обычно дядя Володя начал рассказывать о своей причастности к этой операции. Правда, его лётная часть, дислоцированная в Венгрии, участвовала не в самом вторжении, а лишь в его подготовке – разведке с воздуха и в аэрофотосъёмке. Последняя потребовалась, поскольку вдруг оказалось, что наши войска не располагали нормальными топографическими картами местности. Может быть, потому что ни Венгрия, ни ЧССР, ни другие соцстраны не рассматривались нашими стратегами в качестве возможного театра военных действий. Потребность в картах была настолько срочной, что работать приходилось даже по ночам. С самолёта сбрасывалась на парашюте осветительная ракета, и пока она летела, производилась съёмка. Дядя Володя, смеясь вспоминая, как однажды не догоревшая до конца ракета упала на чей-то сарай или амбар (Слава Богу, не на дом!). Лётчики получили взбучку от начальства, а хозяин амбара – компенсацию за ущерб от пожара. Этот эпизод потянул за собой другие воспоминания о годах службы в Венгрии – о бедном жизни простых мадьяр, обед которых в те времена мог состоять из картошки с красным перцем и луком, об их странной для русских традиции проводить целый вечер в кафе с одной рюмочкой сливовицы. Присоединившись к рассказам отца, Таня вспомнила галантность венгерских мужчин, которые, прощаясь с дамой, кем бы она им не приходилась, непременно произносили традиционное «Чоколом!», что значит «Целую ручки!». Это была последняя наша встреча с дядей Володи. Вскоре после этого он перенёс инсульт и на долгие годы был прикован к постели. А наше общение свелось к редким разговорам по телефону.

Таня, естественно, помогала родителям в постигшем их несчастье, приезжала из Минска, подключала все свои гродненские связи, находила нужных специалистов для обследования больного отца. Но основной груз, конечно же, лёг на плечи его жены Ирины. Вот, странно – супругу дяди было бы логично называть тётёй, но я всю жизнь называл её просто Ириной и лишь в последнее время, когда возраст её стал приближаться к восьмому десятку, я узнал её отчество – настолько молодо всегда выглядела эта женщина. У меня нет сомнений в том, что всю свою энергию, жизнестойкость и оптимизм Татьяна унаследовала именно от мамы. О её жизни я знал очень мало. И поэтому однажды во время нашей встречи в Минске я попросил её поделиться воспоминаниями, что она и сделала весьма охотно. Мне оставалось лишь записать её рассказ, который я привожу ниже.

Молодые годы Ирины Красиной

Её дед Андрей имел до революции собственное предприятие по изготовлению валенок в Нижегородской губернии. Кроме троих его сыновей на производстве трудились еще трое наемных работников. После революции деда, как и всех предпринимателей, «раскулачили», и семья перебралась в Нижний Новгород. Младший сын Яков имел однажды неосторожность публично высказаться против экспроприации, за что был арестован и сгинул в лагерях. Старший – Зиновий перед войной уехал в Ленинград, и вскоре погиб во время блокады.

Средний сын Иван, будущий отец Ирины, поступил работать на завод в Нижнем Новгороде и благодаря своему трудолюбию и способностям стал быстро продвигаться по профессии. Скорее всего, еще до раскулачивания он познакомился со своей будущей женой, которая в то время работала батрачкой. Социальное положение невесты не устраивало родителей Ивана, и они отказались благословить их брак. Тем не менее, любовь оказалась сильнее, молодые поженились без родительского благословения и стали жить отдельно. Вскоре родилась у них дочь Ирина.

В 1938 году, когда уже вовсю шла гражданская война в Испании, Иван был направлен туда в качестве авиационного механика. Такое доверие было оказано Ивану, как хорошему специалисту и как человеку чрезвычайно молчаливому – качество весьма полезное для различных секретных миссий. А наша помощь республиканской Испании была тайной. Правда, только для советского народа (на Западе об этом знала каждая собака). Поэтому отправляли его в Испанию не напрямую, а окольным путем через Ригу, под видом коммерсанта, следующего в Испанию для закупок оливкового масла. В соответствии с легендой Ивана принарядили. Впервые в жизни надел он кожаное пальто и шляпу. К счастью для Ивана (и к несчастью для республиканцев) гражданская война довольно быстро закончилась. В 1939 году Иван благополучно вернулся на Родину. И вернулся не с пустыми руками. Ирина вспоминает, что отец привез чуть ли не целый грузовик с вещами, купленными частично в самой Испании, а частично в Европе на обратном пути. Тут было кое-что из мебели, из одежды, из домашних утвари. Но для детей, конечно, главным потрясением был граммофон. На язык современной, избалованной с детства различной техникой, молодежи это слово можно было бы перевести, как механико-акустический плеер 12-дюймовых виниловых дисков с ручным заводом пружины и с большим медным рупором для усиления звука.

Обстоятельства пребывания Ивана Андреевича в охваченной войной Испании так и остались тайной для всех близких. Но, видимо, он все же проявил себя не с худшей стороны, благодаря чему в 1940 году был направлен на авиаремонтный завод в китайский город Урумчи. Направлен, как и в прошлый раз, один, без семьи.

Трагическая весть о начале Великой отечественной войны, разносившаяся по всей стране из черных тарелок репродукторов, застала маленькую Ирину с мамой врасплох. Она вспоминает, как услышала об этом на улице, как увидела толпы, несущиеся к магазинам, как, будучи пятилетним, ничего еще не понимающим ребенком, прибежала домой и, задыхаясь от волнения и испуга, сообщила маме о войне, сама еще не понимая смысла этого слова. Маме удалось купить какие-то крохи, какие-то жалкие остатки продуктов – два или три пряника, пачку соли... А затем пришлось распродавать и менять на хлеб все привезенное Иваном из Испании. Благодаря этому продержались какое-то время. Потом голодали. Поехать к Ивану Андреевичу в далекий город Урумчи очень долго не разрешали. Но, наконец, смиловались. Мать была в положении, и, может быть, это сыграло какую-то роль.

Семьи специалистов сначала летели на самолете до Алма-Аты, а оттуда уже – до Урумчи – города в западной части Китая. От Урумчи на автобусах их довели до места назначения. Авиаремонтный завод был расположен в долине, окруженной горами. На территории кроме завод-

ских корпусов и ангаров стояло несколько бараков для жилья, а также магазин, баня, школа и прочие, сопутствующие жилому посёлку учреждения. Выходить за ограждение поселка строго воспрещалось. Вокруг орудовали вооруженные банды. И, тем не менее, годы, проведенные здесь, Ирина вспоминает с удовольствием. Было не голодно, был нормальный, налаженный быт. Она стала ходить в школу. И на всю жизнь запомнилась сказочная, не виданная ранее природа: горные луга, покрытые цветочными коврами, небо необыкновенной яркой синевы, скалы, омываемые спадающими ручейками водопадов, которые к зиме замерзали, и свисали сосульками, совсем как на китайских картинках.

В Китае они прожили пару лет, почти до конца войны. И, как бы там не было спокойно и сытно, а возвращения ждали с нетерпением, еще не зная, не понимая, что их ждет на Родине. Обратную дорогу она запомнила уже лучше. Помнит, как на автобусах приехали в изнывающий от летней жары Урумчи. Помнит китайцев в больших конусных шляпах, разносящих на коромыслах корзины с виноградом и другими фруктами. Родители купили ей красивые туфельки, которым она очень радовалась. Правда, в России эта обувка развалилась после первого же дождя – подошвы оказались картонными. А после Урумчи была граница и страшный китайский пограничник, у которого в руках ружьё с острым стальным штыком. Он зорко и строго осматривал их автобус, пока его товарищи с такими же страшными штыками стояли на улице.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.